

М. О. СКРИПЛЬ

„Слово Даниила Заточника“

„Слово Даниила Заточника“, известное в науке еще со времен Н. Карамзина,¹ остается недостаточно изученным, собственно, до настоящего времени. Вызванная „Словом“ обширная литература не решила окончательно даже важнейших вопросов его изучения, таких, как вопрос о времени его происхождения, об идейном смысле его, о его жанровой природе, о хронологии его редакций, о личности его автора и пр. Все это, конечно, затрудняет определение подлинного места „Слова“ в литературном процессе древней Руси.

„Слово“ сохранилось в поздних списках (не старше XVI и XVII веков), представляющих собой две его редакции. В одной из них, обычно называемой первой, произведение Даниила Заточника именуется „Словом“. Только в самое последнее время открыт новый список этой редакции, начальные строки которого свидетельствуют о том, что в отдельных случаях произведение это называлось „Написанием Даниила Заточника“.² „Слово“ обращено в адрес сына „великаго князя (царя) Владимира“ (неизвестно какого). В другой своей редакции этот памятник называется „Молением“, или „Посланием“, и адресован „князю Ярославу Всеволодичю“.

В адресате „Слова“ обычно видят Ярослава Владимировича, сына Владимира Мстиславича, правнука Владимира Мономаха. Ярослав Владимирович с 1181 по 1199 год несколько раз был новгородским князем. Соответственно с этим и возникновение первой редакции ряд ученых относит к концу XII века. Противники этой точки зрения считают, что адресатом „Слова“ отнюдь не мог быть Ярослав Владимирович, сын Владимира Мстиславича, так как наименование Владимира Мстиславича „великим князем“, а тем более „царем“ исторически неоправдано. Владимир Мстиславич не отличался никакими личными доблестями и играл весьма неблагоприятную роль в княжеских междоусобицах; киевский стол он занял только на 4 месяца, да и то обманом. Отказавшись от Ярослава Владимировича, некоторые ученые пытались найти адресата „Слова“ среди сыновей Владимира Мономаха — Юрия Долгорукого или Андрея Доброго, полагая, что древнерусский книжник только к одному Владимиру Мономаху мог отнести почетный титул царя. Возникновение „Слова“, таким образом, передвигалось к середине XII века.

¹ Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. VIII. Изд. 2-е, 1819, стр. 150—155.

² М. Н. Тихомиров. „Написание“ Даниила Заточника. Труды ОДРЛ, т. X, Изд. АН СССР, М.—Л., 1954, стр. 269—279.

Однако уже очень давно было выражено сомнение в правильности такого взгляда на „Слово“. Еще в 1857 году Ф. Буслаев высказал мысль о хронологическом первенстве второй редакции, т. е. „Моления“, или „Послания“. Подобное предположение разделялось таким крупным ученым, как В. М. Истрин, а также другими исследователями. В советском же литературоведении эта точка зрения получила широкое распространение, ее придерживаются авторы некоторых значительных статей, появившихся в печати в последние десятилетия: Н. К. Гудзий¹ и В. М. Гуссов². Она вошла в академическую „Историю русской литературы“³ и в учебные пособия.⁴

Согласно этой точке зрения, литературная история „Моления“ представляется в следующем виде. „Моление“ было адресовано сыну Всеволода III Большое Гнездо — князю Ярославу Всеволодовичу, который был одновременно князем Переяславля Суздальского и Новгорода между 1223 и 1236 годами. Наименование Ярослава сыном „великого князя Всеволода“ сторонникам этой точки зрения представляется вполне закономерным: из князей Суздальской Руси Всеволод III первый начал именоваться великим князем; „честным и великим“ назвал и его сына Ярослава автор повести об Александре Невском. Таким образом, „Моление“ могло быть написано в 20-е или 30-е годы XIII века. Позже какой-то переписчик сократил текст „Моления“, изменил имя князя, и создалась так называемая первая редакция — „Слово“. Так в схематичном виде выглядит концепция сторонников старшинства второй редакции. Замечая, что далеко не все в первой редакции „Слова“ можно вывести из текста второй его редакции, некоторые из них склоняются к выводу, что обе редакции происходят от такого текста, который объединяет их характерные особенности. Такую точку зрения особенно конкретно выразил Н. К. Гудзий. „Думается, — пишет он, — что в итоге многочисленных высказываний о загадочном памятнике бесспорным следует признать следующее. Прежде всего ни один из его списков и ни одна из редакций более или менее точного представления о его архетипе не дают... Правдоподобнее всего будет допустить, что архетип заключал в себе элементы так называемых и I и II редакций“.⁵ На вопрос „Какая из этих двух редакций удержала в себе наибольшее количество тех дробных, подвижных элементов, которые входили в состав архетипа“, Н. К. Гудзий отвечает: „та, в которой мы усматриваем наибольшее количество конкретного, фактического, реального, а не отвлеченно-обобщенного материала“. И продолжает: „С точки зрения конкретности, фактической наполненности и историчности, а также присутствия личного начала все преимущества на стороне так называемой второй редакции. Из нее, и только из нее, уясняются конкретно, а не обще те личные жизненные обстоятельства, которые побудили автора написать обращение к своему князю“.⁶

¹ Н. К. Гудзий. К какой социальной среде принадлежал Даниил Заточник. Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности акад. А. С. Орлова, Изд. АН СССР, Л., 1934.

² В. М. Гуссов. Историческая основа Моления Даниила Заточника. Труды ОДРА, т. VII, Изд. АН СССР, М.—Л., 1949.

³ История русской литературы, т. II, ч. 1. Изд. АН СССР, М.—Л., 1945, стр. 35—45.

⁴ Н. К. Гудзий. История древней русской литературы. Учпедгиз, М., 1950.

⁵ Там же, стр. 478.

⁶ Там же.

Однако ряд советских ученых не разделяет изложенной здесь концепции сторонников старшинства второй редакции. С. П. Обнорский,¹ Б. А. Романов,² И. У. Будовниц,³ М. Н. Тихомиров⁴ и другие считают „Слово“ в его первой редакции произведением XII века. Особую ценность в этом вопросе имеет мнение С. П. Обнорского, так как оно основано на всестороннем лингвистическом исследовании „Слова“.

Изучая русский литературный язык старшего периода по ряду древнерусских литературных произведений, С. П. Обнорский делает заключение, что в языке списков „Слова“ первой редакции сохранились морфологические, синтаксические и лексические черты русского литературного языка середины XII века; язык же списков второй редакции моложе. Этим самым вопрос „о старшинстве по происхождению одной или другой редакции памятника по данным языка“ решается С. П. Обнорским в пользу первой редакции. Определяя точнее возможное время возникновения первой редакции „Слова“, С. П. Обнорский пишет: „...пора сложения памятника сравнительно не далеко отстояла от времени деятельности Мономаха (1063—1125)“. Во второй же редакции он видит „позднейшую переработку основного текста, т. е. первой редакции памятника“, и относит ее к концу XIII или к XIV веку.⁵

Далеко не во всем можно согласиться с С. П. Обнорским в вопросе о возникновении редакций „Слова“. Легко принять его вывод относительно образования первой редакции в середине XII века. Аналогичная точка зрения уже неоднократно высказывалась в науке рядом ученых, исходивших, правда, не из данных языка, а из исторических реалий „Слова“. Кроме этого, и текстологическое изучение „Слова“ также приводит к этому выводу. Но отнесение второй редакции, т. е. „Моления“, или „Послания“, к концу XIII или к XIV веку является несколько неожиданным. Оно противоречит и историческим и текстологическим данным памятника и потребовало от самого С. П. Обнорского весьма искусственного объяснения.⁶ Значительно более обоснованным является уже прочно сложившееся в науке представление о том, что вторая редакция „Слова“ написана в 20-е или 30-е годы XIII века, т. е. в годы княжения Ярослава Всеволодовича в Переяславле Суздальском и в Новгороде.

Такова вкратце история вопроса о взаимоотношении первой и второй редакций „Слова“. На более подробном освещении ее нет необходимости останавливаться, так как внимание ей уделяется почти в каждой специальной работе о „Слове“, а начальные моменты ее неоднократно были предметом подробного изложения. Но в изучении вопроса о времени возникновения „Слова“ и взаимоотношения его редакций есть одна особенность, которую следует отметить. Большинство ученых при решении его опиралось главным образом на исторические реалии „Слова“, конкретность содержания его в разных редакциях и большую или меньшую последовательность изложения в каждой из них. Только С. П. Обнорский сделал смелую попытку определить время возникновения „Слова“ в его первой и второй редакциях по данным языка всех его списков, да И. У. Будовниц выдвинул принципиальное тре-

¹ С. П. Обнорский. Очерк по истории русского литературного языка старшего периода. Изд. АН СССР, Л., 1947.

² Б. А. Романов. Люди и нравы древней Руси. Л., 1947.

³ И. У. Будовниц. Памятник ранней дворянской публицистики (Моление Даниила Заточника). Труды ОДРА, т. VII, Изд. АН СССР, М.—Л., 1951.

⁴ М. Н. Тихомиров, ук. соч.

⁵ С. П. Обнорский, ук. соч., стр. 125—126, 127—128, 129—130 и др.

⁶ Там же, стр. 130.

бование изучения идейной направленности „Слова“ для правильной его датировки. Однако текстологические данные, которые прежде всего следовало бы привлечь при решении вопроса о времени возникновения „Слова“ и его редакций, до сих пор остаются мало использованными. Даже в научно-критических изданиях И. А. Шляпкина,¹ П. Миндалева² и Н. Н. Зарубина³ данные сравнительного текстологического изучения „Слова“ и „Моления“ используются недостаточно при решении вопросов датировки памятника, идейно-художественного своеобразия его редакций, их взаимоотношения и пр.

В настоящей статье я ставлю своей целью дать комментарии к части важнейших мест „Слова“ на основе сравнительного изучения его текстов, полагая, что это окажется небесполезным как для определения времени возникновения его редакций, так и для решения ряда других вопросов его изучения.

* * *

„Слово“ и „Моление“ уже в самом начале, в той части, которую можно назвать вступлением, дают разные чтения. Учитывая их, можно сделать некоторые предположения о том, как называлось данное произведение в оригинале, и ближе подойти к определению его жанровой природы. Я имею в виду изложение второго параграфа.⁴

„Слово“

Бысть язык мой, (яко) трость книжника скорописца, и уветлива уста, аки речная быстрость. Сего ради покушахся написати всяк съуз сердца моего и разбих зле, аки древняя младенца о камень (А, II).

„Моление“

И бысть язык мой, яко трость книжника скорописца;

тем окушахся
изреци слово; всяк союз
разверг сердца моего, разбих зле
аки древняя младенца о камень (Ч, II).

Можно с уверенностью сказать, что „Слово“ дает более близкие к протографу обеих редакций чтения этого места. Так, в „Молении“ в этом параграфе пропущены слова: „... и уветлива уста, аки речная быстрость“; в Чудовском списке они полностью отсутствуют, в списке же Ундольского встречаются в ином сочетании в параграфе XIX, так что очевидно, что первоначально они были на своем месте в тексте второй редакции. Но кроме указанного малозначительного разночтения, в этом же параграфе „Моление“ дает другое разночтение, которое невольно привлекает к себе внимание. Вместо слов первой редакции: „Сего ради покушахся написати всяк съуз сердца моего“, здесь читаем: „Тем окушахся изреци слово; всяк союз разверг сердца моего“. Это явное искажение первоначального текста, явившееся, повидимому, в результате намерения редактора „Моления“ исправить этот текст. Переделывая текст своего источника, он ищет необходимые ему слова здесь же, поблизости, в контексте. Так, по аналогии с вышенаписанным „да развергу в притчах гадания моя“ он пишет малопонятное „всяк союз разверг сердца моего“. Что же касается начала этой фразы: „тем окушахся изреци слово“, то оно, вероятно, объясняется тем, что

¹ И. А. Шляпкин. Слово Даниила Заточника. Памятники древней письменности, 1889, XXXI.

² П. Миндалев. Моление Даниила Заточника и связанные с ним памятники. Казань, 1914.

³ Н. Н. Зарубин. Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII веков и их переделкам. Изд. АН СССР, Л., 1932.

⁴ Ссылки и цитаты везде даются по изданию Н. Н. Зарубина.

источник „Моления“ назывался „Словом“ и это название побудило редактора „Моления“ внести исправление в текст. Фраза „покушахся написать всяк съюз сердца моего“ могла показаться ему неудачной в произведении, которое называлось „Словом“. Отсюда — не „написать“, а „изреши слово“. Очевидно, редактор „Моления“ был менее искушен в литературном деле, чем автор „Слова“, и не имел представления о том, что „Слово“, т. е. ораторское произведение, пишется. Как бы то ни было, но он последовательно именует свой источник „Словом“. Так, в параграфе LXI вместо текста первой редакции „или ми речеши: от безумия ми еси молвил“ мы читаем во второй редакции по Чудовскому списку: „или от безумия, княже, рекл есмь слово“, а по списку Ундольского даже с уточнением: „ды ли речеши, княже: от безумия есть рекл селико (т. е. вот это, данное, — М. С.) слово?“. В последнем случае „Слово“ явно обозначает название произведения.

„Словом“ называется сочинение Даниила Заточника и во всех сохранившихся списках его первой редакции, кроме списка библиотеки музея бывш. Кирилло-Белозерского монастыря № 2871.2. Ж. 74, опубликованного М. Н. Тихомировым, в котором оно именуется „Написанием Данила Заточника“.¹ Необходимо несколько остановиться на этом списке, ввиду того, что издатель его, М. Н. Тихомиров, придает ему особое значение. По его мнению, „«Написание» не было сокращением «Слова», а наоборот, оригинал «Написания», не дошедший до нас, послужил источником для «Слова», дополненным и расширенным рядом вставок“.² К сожалению, это свое мнение М. Н. Тихомиров не подтвердил текстологическим изучением опубликованного им списка. А между тем такое изучение легко опровергает его „рабочую гипотезу“. Оказывается, что этот список происходит от общего со списком Ф. А. Толстого (ГПБ.О.І. № 65) и копенгагенским списком (Копенгагенская королевская библиотека, № 553) протографа. Эти три списка объединяет ряд свойственных им и не встречающихся в других списках разночтений, причем некоторые из них явно к оригиналу не восходят. В ряде случаев список, опубликованный М. Н. Тихомировым, сближается только со списком Ф. А. Толстого. Но текст, представленный им, значительно моложе текста списка Ф. А. Толстого: в нем есть ряд механических пропусков и сознательных сокращений. Вне всякого сомнения, в результате механического пропуска из него выпала известная по толстовскому списку легендарная история „Слова“: „Сии слова аз, Данил, писах в заточение на Беле озере“ и пр. Именно здесь мы находим место, объясняющее название списка бывш. Кирилло-Белозерского монастыря № 2871.2. Ж. 74.

Толстовский список

... И узре князь сие написание и повеле Даниила свободити от горькаго заточения (Т, XLVII).

Кирилло-Белозерский список

От книги глаголемыя пчелы написание Данила Заточеника к своему великому князю (Труды ОДРА, т. X, стр. 270).

Все эти наблюдения, на мой взгляд, не подтверждают гипотезы М. Н. Тихомирова, согласно которой „Слово“ и „Моление“ являются „развитием того, что было дано в «Написании»“.³ Наоборот, в „Написании“ мы имеем испорченный и сильно сокращенный текст „Слова“.

¹ М. Н. Тихомиров, ук. соч., стр. 275.

² Там же.

³ Там же, стр. 279.

Самое заглавие его позднего происхождения и не может поколебать сделанного на основе сравнительного изучения „Слова“ и „Моления“ вывода о том, что сочинение Даниила в оригинале называлось „Словом“.

Таким образом, „Слово Даниила Заточника“ по своей жанровой природе является, повидимому, произведением светского ораторского искусства древней Руси и в этом направлении главным образом должно идти его дальнейшее изучение. Вся важность данного вопроса становится особенно очевидной, если мы учтем, что „Слово Даниила Заточника“ написано, как я стремлюсь доказать ниже, на несколько десятилетий раньше „Слова о полку Игореве“. Жанровую природу „Слова Даниила Заточника“ необходимо учитывать уже и сейчас при дальнейшем комментировании его: благодаря этому вернее раскрывается подлинный смысл его отдельных мест и его идейный замысел в целом.

Комментируемое мною место (второй параграф) важно еще в одном отношении. В нем, на мой взгляд, сформулирована основная цель „Слова“, то, что побудило писателя взяться за перо, написать свое „Слово“ в расчете, очевидно, произнести его перед князем. Можно только поражаться тому, что за стоятидесятилетнюю историю изучения „Слова“ никто из ученых не обратился к этому месту, и оно настолько казалось и кажется непонятным или риторически бессодержательным, что даже выпускалось в хрестоматийных изданиях для высшей школы.

Привожу это место в переводе:

„Был язык мой, как трость книжника скорописца, и речь, успокаивающая, как струя речной быстрины (см. V, XIX). Поэтому-то я попытался написать о путях, сковывающих мое сердце, и с ожесточением разбил их, как некогда младенцев о камень“.

Трудно было с большей выразительностью на аллегорическом языке памятника сказать о том, что автора побудило написать „Слово“ твердое желание освободиться от чувств и мыслей, волновавших его. Слова автора, собственно, опровергают все то, что было сказано о целях „Слова“ в научной литературе. Не княжеская опала, не желание попасть в думцы, не заточение вследствие трусости на войне или воровства и т. п. заставили его обратиться к князю, а внутреннее побуждение, определенный строй идей и чувств. В „Молении“, как мы видим, это место уже сильно изменено. Оно, очевидно, оказалось непонятным для составителя новой редакции памятника.

* * *

Высказав намерение раскрыть в „Слове“ самые заветные свои мысли и чувства, автор ожидает порицания со стороны князя, быть может, потому, что среди сатирических образов, нарисованных им, нашли свое место и „князь скуп“, и княжеский „тивун“, и княжеские „рядовичи“. Но ожидая порицания, он не думает о раскаянии, хотя и сознает, что его одиночество, бесчестие и невзгоды являются следствием того, что он не имеет „плода покаяния“.

„Но боюсь я, господин, порицания твоего, — читаем мы здесь. — Я ведь подобен той смоковнице проклятой: не имею плода покаяния; у меня сердце (непроницаемо), как лицо слепого; и ум мой бодрствует (в одиночестве), как ночной ворон среди развалин;¹ и жизнь моя, как

¹ „Уподобихся неясати пустыней, бых яко ношный вран на нырщи“ (Пс. СІ, 7—8).

и ханаонских царей, закончилась бесчестьем; и настигли меня невзгоды, как Чермное море Фараона“ (см. А, III—IV).

В „Молении“ вся эта замечательная самохарактеристика автора и раскрытие его взаимоотношений с князем совершенно искажены. Мелкие пропуски, повторение сказанного выше, замена одних слов другими не только затрудняют понимание этого места произведения, но и затемняют его смысл в целом. И если для автора „Слова“ самое главное в том, чтобы отстоять волнующие его мысли, то в представлении редактора „Моления“ герой страдает от того, что „не ста обилие посреде дому“ его. Эта тенденция вести речь от имени героя, впавшего в нищету и ищущего милости князя, еще не раз скажется затем в „Молении“ в переосмыслении и неизбежном искажении отдельных мест „Слова“.

* * *

В литературе о „Слове“ и „Молении“ прочно держится легенда что в жизни Даниила имели место какие-то особые обстоятельства — „худые дела“, „преступление“, которые заставили его „бежать“ и в конце концов оказаться в заточении. Основания для этого ищут в следующих словах введения первой редакции: „Се же бе написах, бежа от лица художества моего, аки Агарь рабыни от Сарры госпожа своя (А, V)“. „Бежа от лица художества моего“ истолковывается как — бежал от худых дел своих (И. И. Срезневский) или бежал от своего ремесла, совершив преступление (М. Н. Тихомиров). Фантастичность такого истолкования этого места „Слова“ становится очевидной, как только мы прибегнем к текстологическому изучению его. Текстологических данных в этом случае вполне достаточно для того чтобы определить, как это место было написано в оригинале сочинения и какой смысл оно имело. В списках „Слова“ это место читается — „бежа (Т бежах; Беломорск. беже) от лица (К отаи) художества моего“. В списках „Моления“ — „бежа от лица худости („Послание“ скудости) моя“. Как же было в оригинале сочинения Даниила — „художества“, „худости“ или „скудости“?

В сочинении Даниила еще раз встречается слово „художество“. Так, в первой редакции в обращении к сыну великого князя (царя) Владимира говорится: „Пусти тучю на землю художества моего (А, XII)“. Редактор „Моления“ уже пишет: „Обрати тучю милости твоя на землю художества моего (У, XLV). Это один из конкретных примеров того, как тенденция редактора „Моления“ вести речь от имени героя, впавшего в нищету и ищущего милости князя, приводила к переосмыслению и искажению текста „Слова“. Действительно, в „Послании“ (Ч, XLV) первоначальный смысл этого места уже полностью изменен. Здесь герой просит князя об облегчении своего тяжелого положения („худости“): „Обрати тучю милости твоя на землю худости моя“, в то время как автор „Слова“ — повидимому, действительно сам автор, а не его герой — просит князя о внимании к его „художеству“, а не о какой-то милости или милостыне. По-новому истолковав это место „Слова“, редактор „Моления“ дополняет его изображением радости, которую испытывал бы герой, получив княжескую милость: „да возвеселюся о царе своем, яко обретая корысть многу злата; воспую, яко напоец вина; возвеселюся, яко исполн теци пут(ь)“. Всего этого нет в тексте „Слова“, да и не могло быть. Не понимая слова „художество“ в том значении, какое было придано ему в оригинале, редактор „Моления“ заменил его словом „худость“ и выше, во введении,

в выражении „Се же бе написах, бежа от лица художества моего“ и пр. Но контекст оказался в противоречии с этим новым понятием; поэтому редактор изменил все это место, находя, по своему обыкновению, необходимые ему слова в тексте своего источника. Сейчас это место выглядит в „Моление“ так: „Тем окушахся написати. Се бежах от лица худости (Ч скудости) моя, аки Агар рабыня от руки Сарры госпожа своя (Ч, V, VI)“. Текст явно обесмыслен. Его изменение шло следующим путем: „бежа(х) от лица художества моего („Слово“), „... худости моя („Моление“)“, „... скудости моя („Послание“)“.

В контексте „Слова“ это место имеет ясный и определенный смысл. Сказав, что он не раскаивается в том, что он написал, хотя вслед за этим и постигли его невзгоды, и попутно дав замечательную самохарактеристику, автор „Слова“ в конце введения говорит о последних обстоятельствах, сопровождавших его работу; конечно, только работу над „Словом“, а не какую-либо иную. Был ли он думцем, работал ли в княжеской канцелярии, плавил ли золото и серебро, раскалял ли железо, делал ли „замечательные новгородские сосуды“ (М. Н. Тихомиров)—он многое из этого знал и понимал,—но все это не имеет никакого отношения к содержанию введения в „Слове“. Здесь речь идет о его литературном труде,—его „художестве“. „Се же бе написах,—говорит он,—бежа(х) от лица художества моего, аки Агарь рабыни от Сарры госпожа своя“, т. е. „И вот написав, я избежал того, что я создал, как рабыня Агарь бежала от своей госпожи Сарры“. И вслед за этим: „Но видих, господине, твое добросердие к себе и притекох к обычной твоей любви (А, VI)“, т. е. „Но я видел, господин, твое расположение к себе („Моление“ Веды, господине, твое доброразумие, „Послание“ ... благоразумие; все совершенно неверно) и прибегнул к твоей неизменной любви“.

И, наконец, замечательная концовка из умело подобранных цитат: „Говорит ведь святое писание: «просите и примете». Давид сказал: «То не речи, не слова, если они не прозвучали (если их нельзя услышать)» (Ч, VII)“. Конкретный смысл этих заключительных слов введения трудно раскрыть. Можно только предполагать, что они выражают желание автора видеть свой труд, свое „художество“, в действии, идеи, высказанные им, осуществленными. Было бы очень смело предполагать, что автор „Слова“ хотел быть услышанным князем („не сут речи, ни словеса, их же не слышатся гласи их“), произнести свое „Слово“ в его присутствии, так как мы в настоящее время еще не знаем, как часты были в культурной жизни древней Руси случаи устного произнесения так называемых „слов“. Но ораторская природа „Слова“ и близость его автора к князю не исключают такого именно желаний его. Как бы то ни было, но невозможно отрицать, по крайней мере, ясно выраженную здесь заботу автора о своем „художестве“.

Введение в „Слово“ явно автобиографично. В нем хорошо раскрыта цель „Слова“ и обстоятельства его создания. Оно легко развеивает легенду о мнимых преступлениях автора „Слова“ и внушает сомнение в том, что он был в заточении.

Начальные строки его (А, I)—это вдохновенный гимн в честь разума и мудрости: красота и мудрость, по словам автора, укрепляют сердце разумного в теле его. Эта высокая оценка разума и мудрости как лейтмотив проходит через все дальнейшее изложение, конкретизируясь в десятках афоризмов, пословиц, метких и острых слов.

Автор „Слова“ хотел написать обо всем том, что стесняло, отягчало его сердце („написати всяк съуз сердца моего“). Написав, он боится

княжеского порицания и в то же время говорит о том, что ему недоступно раскаяние, хотя невзгоды уже покрыли его, как Чермное море фараона. Он готов бежать от того, что он создал („от лица художества моего“), и только уверенность в расположении к нему князя заставляет его прибегнуть к неизменной любви последнего.

Во введении речь идет только о самом произведении („художестве“) автора, об авторском замысле, об опасности пострадать за то, что уже написано, и в то же время об отсутствии у автора раскаяния в сделанном. Особенно важно то, что в этой явно автобиографической части „Слова“ ничего не говорится о „заточении“ автора или о каком-то его „преступлении“, или о том, что он „впал в немилость“ у князя и т. п., т. е. обо всем том, чем в научной литературе обычно отягощается судьба Даниила. Очевидно, все это только догадки и гипотезы.

Несколько ниже, уже в центральной части „Слова“, автор далеко не двусмысленно говорит о подлинной причине своего обращения к князю, своей мольбы о милости: „Пусти тучю на землю художества моего (А, XI/1)“. Здесь слышится все та же тревога о „художестве“ своим, о своей судьбе, судьбе человека, который „языком“ своим, подобным „трости книжника“, может навлечь да уже и навлек на себя и бесчестие („бусть“ — *impietas, ἀσεβεια, ἀπόνοια, ἐς φληναφον* — обвинение в безумии, глупости, пустословии) и различного рода бедствия („нищету“, нищевати — бедствовать), а может быть, и прямую нищету. Это одно из первых в русской литературе выражений тревоги и опасений писателя за свои мысли и убеждения.

Однако значение введения не только в том, что оно является ключом ко всему „Слову“. В нем мы видим драгоценное свидетельство вообще о литературной жизни древней Руси. По глубине и конкретности раскрытия в нем отдельных фактов творческой биографии древнерусского писателя его трудно сравнить с каким-либо другим документом этой отдаленной эпохи. Через авторскую самохарактеристику, данную в нем, мы проникаем во внутренний мир писателя, поражающий своей сложностью и высоким уровнем культуры.

* * *

В истории изучения сочинения Даниила нередки случаи, когда при определении его редакций ученые оперируют своими представлениями о плане или композиции „Слова“ и „Моления“. При этом сторонники старшинства „Слова“ находят его план более последовательным и логичным, чем план „Моления“. Сторонники же старшинства „Моления“ приходят к диаметрально противоположным выводам. Это и понятно, ведь никто пока что еще не дал себе труда определить особенности плана „Слова“ и „Моления“ путем внимательного сопоставления этих произведений и текстологического изучения их. А между тем ученые встречают здесь такие неожиданности, которые достаточны для того, чтобы предостеречь от слишком поспешных заключений и выводов о последовательности и логичности плана „Слова“ или „Моления“, и в то же время могут натолкнуть на решение более важных вопросов. В этом отношении определенный интерес представляет начало основной части „Слова“ и „Моления“.

Надо сказать, что здесь „Слово“ и „Моление“ резко расходятся между собой в порядке расположения афоризмов. Причина этого не в перераспределении материала составителем первой или второй редакций памятника, а в механической ошибке переписчика протографа списков „Слова“. Переписывая последний параграф введения, писец дошел

до⁷слов: „Глаголет бо в писании: про- (Ч, VIII)“, и, не дописав слова „просите“, перескочил глазами на текст, начинающийся словом этого же корня: „просящему у тебе даи, толкущему отверзи, да не лишен будещи царствия небесного; писано бо есть: возверзи на господа печал свою, и тои тя препитает во веки (Ч, XVII)“. Все находящееся между этими двумя текстами оказалось пропущенным. По второй редакции в издании Н. Н. Зарубина это — часть параграфа VII, параграфы VIII—XVI и начало параграфа XVII. В рукописи этот текст занимал несколько листов.

Писец сразу же заметил свою ошибку и стал восстанавливать пропущенные им афоризмы, помещая их после текста, в котором механически слиты первая часть параграфа VII и вторая часть параграфа XVII. Но в самом начале этой работы его постигла новая неудача. Восстанавливая текст: „Аз бо есмь, княже господине, аки трава блещена, растяще на застении, на нюже ни солнце сияет, ни дождь идет; тако... (Ч, X; А, VII)“, он вновь допустил механический пропуск, скользнув глазами через несколько строк, и, найдя текст, начинающийся словом „так“, дописал: „и аз всем(и) обидим есмь, зане огражен есмь страхом грозы твоеа, яко оплотом (Т) твердым (Ч, XII; А, VII)“. Получился новый текст, которого не было ни в протографе первой редакции, ни в списках второй редакции.

Затем писец восстановил текст, начинающийся словами „Но не възри на мя, господине, аки волк на ягня (Ч, XVI; А, VIII)“, и текст „Зане, господине, богат мужь везде знаем есть... (Ч, XIII; А, XIII)“.

Заметив, очевидно при проверке написанного, второй пропуск, он решил исправить свою ошибку и восстановил конец пропущенного текста: „Аз бо есмь, княже, ако древо при пути: мнозии бо посекают его и на огонь мечють; тако и аз всем(и) обидим есмь, зане огражен есмь страхом грозы твоеа (Ч, XII; А, XV)“. Так образовалось в дошедших до нас списках „Слова“ первой редакции повторение текста: „так и аз всем(и) обидим есмь, зане огражен есмь страхом грозы твоеа (А, VII и XV)“.

Затем переписчик восстановил весь остальной текст, выпавший при первом большом пропуске: „Княже мои, господине! Яви ми зрак лица своего... (Ч, XV; А, XIX)“; „Да не будет, княже мои, господине, рука твоа согбена на подание убогим (Ч, XVII; А, XXI)“; „Господине мои! Не зри внешняя моя, но возри внутренняя моа... (Ч, XIV; А, XXVIII)“. Одним словом, все выпавшие при первом пропуске места писцом были восстановлены. Остались не восстановленными только выпавшие при вторичной ошибке писца часть афоризма „Аз бо есмь, княже господине, аки трава блещена, растяще на застении“ и афоризм „Вси напищаются от обилия дому твоего“, о которых можно судить по спискам второй редакции.

Эти факты интересны сами по себе, так как они характеризуют степень сохранности текста „Слова“. Но не только в этом их значение. Косвенно они приводят к более ценным наблюдениям. Дело в том, что тексту, выпавшему при первой ошибке переписчика протографа списков „Слова“, в „Молении“ соответствует текст, в который входит упоминание имени князя. После слов: „«просите и примите»; Давид рече: «не сут речи, ни словеса, их же не слышатся гласи их»“, — бесспорно бывших в протографе списков „Слова“, так как именно первый слог слова „просите“ — „про-“ — и был начальной гранью выпавшего текста, — в „Молении“ идут следующие два параграфа: „Мы же не умолчим, но возглаголем к господину своему всемилостивому князю Ярославу Всеволодичю“ и „Княже мои, господине! Помяни мя во княжении своем,

яко аз раб твои и сын рабы твоя (Ч, VIII, IX)". В списках „Слова“, сохранившихся до нашего времени, никаких следов этих параграфов нет. Но, быть может, они были в протографе списков „Слова“ хотя бы с упоминанием имени другого князя и выпали при первом пропуске, допущенном переписчиком? Но то обстоятельство, что переписчик, заметив свою ошибку, тщательно восстанавливал весь пропущенный текст, внушает нам уверенность в том, что в протографе списков „Слова“ в этом месте не было упоминания ни о каком князе, так как переписчик при проверке текста не упустил бы этого упоминания. Таким образом, наличие этого упоминания в списках второй редакции — не черта оригинала сочинения Даниила, а результат работы редактора „Моления“. „Слово“ же знает только „сына великаго князя Владимира“.

То, что указанные два параграфа „Моления“ вставлены в первоначальный текст рукой редактора „Моления“, изобличается и контекстом памятника. Мы уже видели на нескольких примерах, что редактор „Моления“, часто не понимая текста своего источника, стремился осмыслить не понятное им и давал неверное толкование его. Нечто подобное он допустил и в данном случае. Прочтя конец введения и не поняв его, он формально противопоставил заключительным словам введения: „не сун речи, ни словеса, их же не слышатся гласи их“, свою формулировку: „Мы же не умолчим, но возглаголем к господину своему всемилостивому князю Ярославу Всеволодичю“. Дальше же идет самое обращение к князю: „Княже мой, господине! Помяни мя во княжении своем, яко аз раб твой и сын рабы твоя“. О том, что это вставка редактора „Моления“, свидетельствует и необычное для автора „Слова“ местоимение „мы“: „Мы же не умолчим“.

Вся совокупность этих данных, даже без сравнительного изучения разночтений первой и второй редакций сочинения Даниила, говорит о старшинстве первой редакции. Утверждение В. М. Гуссова и ряда других ученых, что вторая редакция сочинения Даниила является на самом деле первоначальной, а так называемая первая представляет уже ее переделку, окончательно должно быть признано неверным.

Но кого имеет в виду автор „Слова“, говоря о „сыне великаго князя Владимира“? Нет необходимости останавливаться на истории этого вопроса. Она неоднократно излагалась в научной литературе. Нет необходимости и в подробной критической оценке аргументации, привлекавшейся теми или иными учеными в пользу различных претендентов на роль „сына великаго князя Владимира“. Следует прежде всего вчитаться в текст самого произведения.

Есть в тексте „Слова“ и „Моления“ место, смущавшее и продолжающее смущать ученых, так как комментирование его крайне затруднено. Оно-то мне и представляется ключевым при решении вопроса о том, кого имел в виду автор „Слова“, говоря о „сыне великаго князя Владимира“, и при определении времени возникновения памятника.

С большим удовлетворением дважды отметил М. Н. Тихомиров отсутствие в опубликованном им „Написании“ ссылки на князя Ростислава, столь сбивавшей исследователей. Действительно, без нее легче видеть в „сыне великаго князя Владимира“ Ярослава Владимировича, сына Владимира Мстиславича, правнука Владимира Мономаха. Но „Написание“ далеко отстоит от первоначального текста сочинения Даниила, и отсутствие в нем ссылки на Ростислава, — которая, судя по всем сохранившимся спискам памятника, была в его оригинале, — сложного вопроса о Ростиславе не снимает. Автор „Слова“, слышавший Ростислава („Не лгал бо ми Ростислав князь“), не мог бы во времена Яро-

слава Владимировича новгородского сказать о себе, что он „ун възраст“ имеет. А это „ми“ никак иначе, как обычным дательным падежом, не объяснить, так как для этого нет данных в контексте. Да если бы и удалось оставить в стороне Даниила, все равно это не спасло бы положения, так как слова Андрея Владимировича Переяславского оставались бы приписанными Ростиславу. Считать же, что автор „Слова“ допустил такую путаницу в отношении хорошо известных ему князей, также нет никаких оснований.

Мне кажется, что это место „Слова“ будет оставаться непонятым до той поры, пока при его комментировании не будут учтены особенности самого произведения, его жанровая природа.

„Слово“ было написано как произведение светской ораторской прозы. Сам жанр ставил перед автором некоторые формальные требования, в частности требование непосредственного обращения к адресату. Этим объясняется многократное повторение формулы „Княже мой, господине!“ адресат представляется хорошо известным лицом, в обращении к которому позволительно припоминать прошлое, говорить полунамёками и т. п. Автор пишет свое „Слово“, представляя, что он стоит лицом к лицу с князем, непосредственно обращаясь к нему. Понятно, что он не имел оснований давать (или, во всяком случае, мог не давать) более точное, чем он это сделал, определение своего адресата.

Иным было положение редактора „Моления“ или „Послания“: у него все действие переключалось в план переписки героя с его князем, поэтому-то он и назвал князя полным именем.

Что же касается ссылки на Ростислава, то стоит только поверить автору, что он действительно слышал от Ростислава знаменитые слова его дяди, Андрея Владимировича Доброго, князя Переяславского, и напомнил их последнему в своем „Слове“, как трудности комментирования этого места падают сами собой. В обстановке действительного или воображаемого личного обращения автора „Слова“ к князю не нужно было говорить, чьи эти слова. Для адресата „Слова“ ведь это было ясно. И сама аргументация оказывалась весьма убедительной.

„Правильно передал мне князь Ростислав: «Лучше бы мне смерть, нежели Курское княжение»; так ведь и мужу: лучше смерть, нежели продолжение жизни в невзгодах (А, XI)“.

Итак, возникновение первой редакции следует отнести к последним годам жизни Андрея Владимировича Доброго, когда он вновь занял княжение в Переяславле Южном; возникновение второй редакции — к последним годам жизни Ярослава Всеволодовича, в ранней юности княжившего в Переяславле Южном, а с 1213 по 1236 г. — в Переяславле Суздальском.

* * *

Одним из источников „Слова Даниила Заточника“ была „Повесть временных лет“. Автор „Слова“ хорошо знает ее. В „Слове“ есть места, текстуально совпадающие с „Повестью временных лет“. Но это не пространные цитаты, а только небольшие вкрапления летописного текста в речь автора. При первом знакомстве с ними создается впечатление, что мы имеем здесь дело с цитированием летописи по памяти. Вне всякого сомнения, ряд совпадений в тексте „Слова“ с летописью только так и можно объяснить. Однако можно предполагать, что в некоторых случаях автор „Слова“ имел текст „Повести временных лет“

перед своими глазами и именно „Повести временных лет“, так как исторические ссылки в „Слове“ не выходят за ее хронологические грани.

Внимательное изучение совпадений „Слова“ с летописью приводит к выводу, что автор „Слова“ пользуется текстом летописи столь же своеобразно, как и другими своими источниками. Для него она не документ, важный сам по себе, как свидетельство об историческом прошлом народа, а материал, из которого можно черпать убедительные примеры, подтверждающие справедливость его собственных суждений. Поэтому он крайне свободно относится к летописному тексту: делает в нем перестановки, перефразирует его, объединяет разные летописные записи и пр. и т. ч., что особенно интересно, изменяет летописный текст, опираясь на истинное историческое предание.

Такую, например, сложную историю можно предполагать для объяснения известного места „Слова“: „Яко же бо похвалися Езекии царь (А, XXII)“. Библейская история Езекии была необходима автору „Слова“ как исторический пример того, как высоко должен ценить своих „мужей“ князь. Этой цели и подчинен в данном случае материал летописи и Библии.

Ни в „Повести временных лет“, ни в каком-либо ином произведении древней Руси, оригинальном или переводном, нельзя указать текста, точно и полностью совпадающего с данным местом „Слова“, но объяснить возникновение его из определенных источников можно. Так, прежде всего следует сравнить его с летописным известием под 1075 годом о приходе послов Генриха IV к князю Святославу Ярославичу.

„Слово“

Яко же бе похвалися Езекии царь послом царя Вавилонскаго и показа им множество злата и серебра; они же реша: „наш царь богатеи тебе не множеством злата, но множеством воя; зане мужи злата добудуть, а златом мужей (не) добыти“ (А, XXII).

„Повесть временных лет“

В се же лето придоша сли из немец к Святославу; Святослав же, величаяся, показа им богатство свое. Они же видевше бесчисленное множество, злато, и серебро, и паволоки, и реша: „Се ни въ что же есть, се бо лежить мертво. Сего суть кметье луче. Мужи бо ся доишуть и болше сего“. Сиде ся похвали Иезекий, цесарь Иудейск, к послом цесаря Асурийска, его же вся взята быша в Вавилон: тако и по сего смерти все именье расыпаса разно (ПСРА, т. I, вып. 1, стр. 198—199).

Не может быть сомнения в том, что летописный эпизод о приходе послов Генриха IV к Святославу Ярославичу нашел свое отражение в этом тексте „Слова“: текстуальные совпадения „Слова“ и летописи достаточно определенно свидетельствуют об этом. Здесь прежде всего поражает то обстоятельство, что событие времени княжения Святослава Ярославича становится фактом биографии библейского царя Езекии. Правда, для этого есть некоторое основание, так как в библейском рассказе об Езекии также отмечается аналогичное событие: вавилонский царь шлет „послания и послы и дары Езекии“; Езекия показывает пришедшим к нему послам „дом ароматов, и мира, и стакти, и фимиама, и злата“ и пр. Автор „Слова“ знает об этом библейском сказании, очевидно, не только по летописи, но и непосредственно из Библии (в „Слове“ Езекия „похвалися“, как и в Библии, перед послами царя Вавилонского, а не „Асурийска“, как говорится в летописи). Вследствие всего этого крайне трудно определить — забывчивостью ли его, цитированием ли его по памяти объясняется смешение фактов биографии исторического Святослава Ярославича и библейского Езекии или же это

сознательная дорисовка библейского эпизода, усиление примера, уже использованного „Повестью временных лет“. Если принять второе предположение, тогда станет понятным, почему автор „Слова“ заставляет вавилонских послов отвечать Езекии словами Владимира Святославича („Сребромъ и златом не имам налести дружины, а дружиною налізу сребро и злато“).¹ Объяснение этому также следует искать не в забывчивости автора „Слова“. Он как писатель, а не летописец, повидимому, считал вполне допустимым такое обращение с летописным материалом, раз это было необходимо для более ясного выражения его творческого замысла.

Такова же по приемам использования летописного материала и следующая историческая ссылка автора „Слова“, непосредственно примыкающая к предыдущей: „Яко же рече Святослав князь, сын Ольжин, ида на Царьград (А, XXII)“. Для автора „Слова“ она также имеет значение примера и своим внутренним смыслом связывается с комплексом идей, волнующих его: князь обязан высоко ценить свою дружину, и между ним и ею нет никого, кроме бога.

Обращаясь к этому месту „Слова“, следует прежде всего отметить, что здесь оно читается в более кратком, чем в тексте „Моления“, изложении. Сравнительное изучение „Слова“ и „Моления“ приводит к выводу, что краткость изложения этого места в „Слове“ объясняется сокращением первоначального текста, лучше и полнее сохранившегося в „Молении“. При этом данные текстологического анализа настолько определены, что другое предположение, а именно, что текст „Моления“ является расширением первоначального текста, представленного „Словом“, вряд ли может быть выдвинуто.

„Слово“

Яко же рече Святослав князь,
сын Ольжин, ида на Царьград
с малою дружиною, и рече:
братиа!
нам ли от града погинути,
или граду от нас пленену
быти?

Яко же бог
повелит, тако будеть:

поженет бо един сто, а от
ста двинется тма. Надеяся
на господа, яко гора Сион не
подвизится в веки (А, XXII).

„Моление“

Яко же рече Святослав, сын
Олжин, ида на Царьград (У с)
малою дружиною, и рече: не
ведомо ны есть, братие,
граду ли от нас пленену быти,
или будет нам от града поги-
нути.

Аще бог по нас, кто на ны?
Рече бо (У бог): поражаю и
паки сотворю; воздвижу брани,
уставлю мир. Нещь храбрства,
ни думы противу мне. Всяко слово
смерть и живот, но мышцею моею
уповают вся страны. Яко же аз
реку, тако и будет: повелю бежа-
ти, и побегут; повелю гнати,
то гонят. Поженет един сто, а
сто подвигнет тму. Надеяся
на мя, яко гора Сион не
подвизится во веки (У, XXII).

Беря эту историческую ссылку в ее полном виде, мы обнаруживаем в ней подбор таких изречений из Библии, главным образом из книги „Второзаконие“,² которые подтверждают мысль автора, что победа в конечном счете определяется волею божьею: „Аще бог по нас, кто на ны?“ и пр. В первой редакции здесь явный пропуск, обесмысливающий всю ссылку, поэтому в оригинале сочинения Даниила следует предполагать текст, близкий к чтению второй редакции.

¹ ПСРА, т. I, вып. 1. Л., 1926, стр. 126.

² И. А. Шляпкин, ук. соч., стр. 73.

Вся эта длинная речь вкладывается в уста Святослава Игоревича и должна, таким образом, играть роль исторического примера. Но в дошедших до нас летописях нет прямых соответствий этому эпизоду „Слова“ и „Моления“. Известная по летописям речь Святослава перед боем с греками имеет мало общего с речью Святослава, „сына Олжина“.

Вот как она читается по Ипатьевскому списку летописи под 971 годом: „И рече Святослав: «уже нам некамо ся дети, и волею и неволею стати противу: да не посраим земли Руские, но ляземы костью ту, и мертвы(и) бо сорома не имаеть; аще ли побегнем, то срам нам; и не имам убегнути, но станем крепко, аз же пред вами пойду. Аще моя глава ляжет, тоже промыслите о себе»“.¹

Безразлично, исходил ли автор „Слова“ из летописного текста или из устного исторического предания, но речь Святослава приобрела у него совершенно иной смысл, чем та, которую мы знаем по летописи. В ней появилась идея, которая не могла быть доступной князю-язычнику: идея предопределения исторических судеб человечества. Провиденциальная точка зрения на исторические события — это то новое, что автор „Слова“ внес в эту речь Святослава.

Однако не следует думать, что в этом была его основная цель. Характер отношения его к своим литературным источникам, в частности к церковной книжности, заставляет быть осторожным в суждениях о его „историсофии“. Как правило, изречения, взятые им из библейских книг, в контексте „Слова“ теряют свой исконный религиозный смысл. По своей художественной функции они приравниваются к афоризмам из повести об Акире премудром, или из „Изборников“ Святослава, или, наконец, к таким, за которыми слышится русская народная пословица или поговорка. Причем этот пестрый и разнородный материал всегда подчинен определенной задаче — выражению мыслей и чувств автора, его общественно-политических взглядов.

Можно поэтому предполагать, что и в данном случае перед автором „Слова“ стояла политическая задача. Он хотел на „историческом“ примере Святослава по-новому доказать справедливость уже давно феодальной практикой выдвинутой, но в середине XII века приобретающей новое значение идеи об исключительной роли князя в военных делах. Если во внутренней политической жизни, по мнению автора „Слова“, „з добрым бо думцею думая, князь высока стола добудеть, а с лихим думцею думая, меншего лишен будеть (А, XXXIII)“, то в военных столкновениях дело решается не княжескими „думцами“. Между князем и дружиною автор „Слова“ никого не ставит. При „добром князе“ и победа и поражение в конечном счете могут быть объяснены только волей божьей. Такой взгляд на роль князя на войне не ослаблял, а наоборот, укреплял идею о необходимости сильной княжеской власти. Провиденциальная точка зрения автора „Слова“ на исторические события отмечена в данном случае определенной политической тенденцией.

Формально сохраняя этот строй мыслей Даниила Заточника, составитель „Моления“ по сути дела отменит его, противопоставляя ему новые, подсказанные изменившимися историческими обстоятельствами соображения. В сложных условиях татаро-монгольского нашествия он будет давать своему князю, уцелевшему на первых порах только благодаря своей дипломатической изворотливости, более осторожные

¹ ПСРА, т. II, вып. 1. Пгр., 1923, стр. 59.

советы. Он скажет, опираясь на авторитет Заточника: „Даниил рече (хотя Даниил Заточник отнюдь не имел в виду того, что он ему приписывает, — М. С.): «храбра, княже, борзо добудешь, а умен дорог. Мудрых полцы крепки, и грады тверды; храбрых же полцы силни, а безумни: на тех бывает победа» (Ч, XX)“. Дипломатическая осторожность составителя „Моления“ — это дань времени.

Этими двумя историческими ссылками да словами Андрея Доброго, собственно, и исчерпываются связи „Слова“ с летописью. Что же касается „Моления“, то в нем эти связи несколько шире. Здесь, кроме указанных, находятся еще две исторические ссылки; например Святополка (о битве его с Ярославом) и Боняка (о сражении с уграми). В них как бы продолжается развитие мыслей автора „Слова“ о значении князя или предводителя во время военного столкновения, о необходимости порядка в войске и в то же время предопределенности исхода боя.

Этот эпизод „Моления“ заслуживает особого внимания. В тексте „Моления“ он занимает место, логически вполне определенное, будучи помещенным вслед за изречением о гибельном значении „безнарядья“ для войска (А, XXIII; Ч, XXV и первые строки XXVI). За ним идут два параграфа, отсутствующие в данном месте „Слова“: 1) „Аз бо не во Афинех ростох... (Ч, XXVII)“ и 2) „Не остави мене, яко отец мой и мати моя остависта мя... (Ч, XXVIII)“. За этим в обратном порядке следуют изречения, соответствующие тексту параграфа XXIV и второй половины параграфа XXIII „Слова“ (Ч, XXIX).

Анализируя это место „Моления“, мы обнаруживаем в нем две бесспорные перестановки текста, общего для „Слова“ и „Моления“, и одну вставку, которая может принадлежать только составителю второй редакции этого памятника. Так, изречение „Аз бо не во Афинех ростох“ попало в тексте „Моления“ явно не на свое место. По смыслу оно выпадает из контекста, в котором речь идет о роли и значении „доброего князя“ как главы войска. Важно и то, что в „Слове“ это изречение стоит в другом контексте, почти в самом конце произведения, как бы подводя итоги всему сказанному. Еще определеннее можно констатировать перестановку текста в параграфе XXVIII „Моления“. Здесь изречение „Яко же дуб крепится множеством корения, тако и град наш твоею державою“, которым в „Слове“ начинается целое звено изречений о князе, как правителе княжества, как представителе гражданской власти, также попало не на свое место, разрывая рассуждения составителя „Моления“ о князе-воине. Что же касается изречения „Княже мой, господине! Не остави мене, яко отец мой и мати моя остависта мя, а ты, господине, прими милостию своею“, то оно всем смыслом и формой указывает на авторство составителя „Моления“. Ведь только о его герое можно говорить как о человеке, покинутом отцом и матерью и жаждущем попасть к князю милостью последнего. Составитель „Моления“ еще раз усиливает характерную черту создаваемого им образа.

Итак, в анализируемом отрывке „Моления“ можно указать ряд изречений, попавших сюда по воле его составителя. Остаются трудно объяснимыми только две исторические ссылки — на Святослава и Боняка. Можно ли отнести их за счет авторства составителя „Моления“? Я уже сказал, что в них как бы продолжается развитие мыслей автора „Слова“ о князе-воине, высказанных им, когда речь шла о Езекии и Святославе Игоревиче. Автор „Слова“ говорит здесь о том, как высоко князь должен ценить своих „мужей“, какое исключительное значение сам он

имеет во время военных столкновений и как в конечном счете исход всякой битвы определяется волей божьей. По своему внутреннему смыслу исторические ссылки „Моления“, действительно, примыкают к этому кругу мыслей автора „Слова“. Святополк, которому суждено было быть разбитым, сумел долгое время сопротивляться, так как у него было храброе войско, но все же Ярослав победил его; а Боняк легко победил многочисленное и храброе войско угров, принявших сторону Святополка: что кому определено. „Аще уставятся полцы крепко, то аще побежену ему (вероятнее всего, князю,—М. С.) быти, но крепко бився, то же побегнет“,— читаем в „Молении“.

Но мог ли составитель „Моления“ развивать тот круг мыслей автора „Слова“, от которого он сам, как мы видели, вынужден был отказаться под влиянием новых исторических условий, противопоставляя старым феодальным представлениям о необходимости храбрых вождей дипломатическую осторожность „мудрых“? Не правильнее ли будет предположить, что в данном случае „Моление“ удержало текст оригинала, выпавший в „Слове“?

„Трудно допустить,— писал А. С. Орлов,— чтобы упоминания о Святополке и Боняке в нем (в оригинале памятника,—М. С.) не было“.¹ Но А. С. Орлов не приводил никаких доказательств в пользу своего мнения. А между тем справедливость такой точки зрения, кроме указанного уже соображения, можно подкрепить и характером отношения к летописному материалу автора этих исторических ссылок. Летописный материал здесь не только истолковывается в духе концепции автора „Слова“, но и литературно оформляется приемами, характерными именно для него.

Обе исторические ссылки „Моления“ опираются на текст „Повести временных лет“. Текстуальные совпадения между „Молением“ и летописью легко подтверждают этот вывод. Но автор ссылок проявляет крайне свободное отношение к летописному повествованию: он черпает из него исторические примеры и придает летописному тексту такое изложение, которое может убедительнее подтвердить его собственные мысли. Если текст летописи противоречит его суждениям, он решительно изменяет его, не останавливаясь перед нарушением фактической стороны исторического события. Такое отношение к летописному материалу мы уже видели, анализируя исторические ссылки, принадлежащие автору „Слова“.

Историческая ссылка на битву Святополка с Ярославом совпадает с летописной записью об этом событии скорее своим общим смыслом (братоубийца должен быть наказан), чем фактическими подробностями. Текстуально совпадают здесь только несколько слов.

„Моление“

Яко же Святополк и
виноват будя, избив
братию,
но тако ти есть креп-
пок,
едва к вечеру, рече, си-
лою одолев Ярослав (Ч, ХХVI).

„Повесть временных лет“

Ярослав... рече: „Брата моя!..
помозета ми на противнаго сего
убицию и гордаго“...
...бысть сеча зла, яко же не бы-
ла в Руси...
К вечеру же одоле Ярослав
(ПСРЛ, т. I, вып. 1, стр. 144).

Вглядываясь в сопоставляемые тексты, мы достаточно отчетливо представляем характер работы автора исторической ссылки на битву

¹ А. С. Орлов. Древняя русская литература XI—XVI вв. М.—Л., 1937, стр. 161—162.

Святополка с Ярославом. Соглашаясь с летописной оценкой Святополка как братоубийцы, который должен понести кару, автор не просто повторяет летописный рассказ, а использует его в связи со своей концепцией княжеской власти. Поэтому-то, признавая Святополка виновным, он в то же время утверждает, что Святополк, „яко же и виноват будя, избив братию“, был так „крепок“ (мужествен, храбр) в битве, что смог продержаться в сражении с Ярославом до вечера. Это все та же, ясно выраженная в „Слове“ и затерявшаяся при составлении „Моления“ мысль: хорошо (даже „дивна“ — удивительно, замечательно) „за добрым князем воевати (А, ХХІІІ)“. Таким образом, автор исторической ссылки на битву Святополка с Ярославом придает летописным данным новый смысловой оттенок.

Очевидно, этим обстоятельством объясняются и его литературные приемы. Пространный летописный рассказ о битве Святополка с Ярославом он сжимает буквально до одного предложения и в то же время в духе своей концепции заостряет вытекающий из него вывод.

Автор и в этом случае привлекает исторические данные для раскрытия своего творческого замысла, для иллюстрации и подтверждения своих политических взглядов.

Литературная обработка летописного текста в ссылке на битву Боняка с уграми характеризуется подобными же особенностями. Подробный летописный рассказ о борьбе Святополка Киевского с Володарем, Васильком и Давыдом сокращен здесь так сильно, что подлинный смысл этого исторического примера можно понять только в контексте „Моления“. Угры, несмотря на то что они многочисленны и обучены военному строю, должны быть разбиты: „аще побежену ему быти, но крепко бився, то же побегнет“. Читателю, придерживавшемуся той же феодальной морали, что и автор, была без объяснений понятна „причина“ поражения угров: ведь они приняли сторону Святослава Киевского, преступившего крестное целование.

Уловив общий смысл летописного рассказа, автор исторической ссылки на битву Боняка с уграми уже не интересуется фактическими подробностями сражения и изображает его согласно своим собственным представлениям о тактике боя.

Ссылка эта требует пристального внимания. В ней есть ряд мест, ярко характеризующих приемы литературной работы ее автора. Но есть в ней и „загадки“, решить которые мы беспомощны в настоящее время.

Наивный летописный эпизод о том, как Боняк благодаря своей мудрости заранее определил исход боя с уграми, в ссылке передается несколькими словами: „Боняк судивый хитростию“. Автор ссылки схватывает самое главное в этом эпизоде — свидетельство о военной хитрости Боняка, благодаря которой тот смог побудить вступить в бой и князя Давыда и свои малочисленные полки. Боняк для автора ссылки — образец хорошего военачальника. Именно поэтому он ограничивается выводом из летописного эпизода. И дальнейшее изложение летописного рассказа интересует автора ссылки только постольку, поскольку на основании его можно составить представление о Боняке как о военачальнике. Для него не важна точность передачи. Он стремится передать только общий ход событий, в которых вырисовывается значение военачальника. Поэтому он так свободно излагает описание боя Боняка с уграми.

Текст „Моления“ в очень сжатом виде передает летописный рассказ. Но это не механическое сокращение. Меняется целая картина.

„Моление“

Тако и Бок (У Боняк),
судивыи хитростию и

победив угры и галичь (У победи угры у Галича) онем нарядившемся, но сступився (У нарядившимся на сступ, а сии), яко ловцы рассеявшеся (У разсыпашася) по земли:
тако изби угры на избой, зле их погуби (Ч, XXVI).

„Повесть временных лет“

И наутрия Боняк исполчи вои свое... и раздели на 3 полкы и поиде к угром... Угры же исполчишася на заступы, бе бо угр числом 100 тысящ. Алтунопа же пригна к 1-му заступу, и стреливше побегнуша пред угры, угры же погнаша по них. Яко бежаще минуша Боняка, и Боняк погнаше сека в тыл, а Алтунопа възвратяшеться вспять, и не допустяху угр опять, и тако множицею убивая сбиша е в мячь. Боняк же разделися на 3 полкы, и сбиша угры акы в мячь, яко се сокол сбиваеть галице...

Глаголаху бо, яко погыбло их 40 тысящ (ПСРЛ, т. 1, вып. 1, стр. 271).

В летописи рассказывается о том, как легкий отряд половцев неоднократно заманивает полки („заступы“) угров, а Боняк, выйдя из засады в тыл уграм, уничтожает их. В тексте „Моления“ весь этот эпизод излагается иначе: полки угров приготовились к сражению (У „оном нарядившимся на сступ“), а половцы рассеялись (У „разсыпашася“) по земле, как ловцы, и перебили угров. Характер литературной обработки летописного текста ясен. Но почему в тексте „Моления“ — „победив угры и галичь (Ч)“ или „победи угры у Галича (У)“? Трудно отрицать, что текст „Моления“ сложился под влиянием слов летописи: „... и сбиша угры акы в мячь, яко се сокол сбиваеть галице“. Но невозможно предположить, что автор ссылки так небрежно передавал летописный текст и так плохо знал само историческое событие, о котором идет речь. Не читалось ли это место в своем первоначальном виде несколько иначе, чем сейчас по Чудовскому и Ундольскому спискам?

Итак, общий смысл этих исторических примеров соответствует концепции автора „Слова“ о князе-воине, его представлениям о значении князя в военных столкновениях и об истинной силе, решающей исход боя. Приемы литературной обработки летописного материала в этих примерах совпадают с приемами работы автора „Слова“. Все это создает уверенность в том, что исторические ссылки на Святополка и Боняка входили в первоначальный текст сочинения Даниила Заточника.

* * *

При беглом знакомстве с центральной частью „Слова“ создается впечатление, что она состоит из разнородного материала, что здесь наряду с афоризмами, имеющими определенный общественный и политический смысл, есть много и таких, которые касаются только различного рода житейских отношений. Но в действительности это не так. Весь богатый афористический материал „Слова“ подчинен одной основной идее. Намечающаяся биографическая линия писателя (подлинная или воображаемая — это, вероятно, останется навсегда неясным), все разнообразные наблюдения, мысли и жалобы автора, бегло выраженные в отдельных афоризмах или подробно развитые в ряде циклов их, ценны в глазах автора не сами по себе. Они тяготеют, как к своему центру, к идее сильной княжеской власти. Они, с одной стороны, слу-

жат ее конкретизации и, с другой — синтезируются ею в определенное политическое credo автора.

Надо сказать, что эта особенность „Слова“ долгое время ускользала от внимания исследователей. Большинство из них сосредоточивали свое внимание на выяснении биографической линии „Слова“, узко понимая и раскрывая ее. К. Ф. Калайдович первый обнаружил интерес к биографии Даниила. Издавая полный текст Толстовского списка (ГПБ, О. I. 65), он писал: „Даниил, герой эпического Слова, жил в XII веке, был сослан в заточение на озеро Лаче... и там написал сие Послание, которое странным образом дошло в руки князя: Георгий Долгорукий приказал освободить его“.¹ Для К. Ф. Калайдовича все уже представляется ясным: и то, что автор был заточен, и то, что он, находясь в заточении, написал свое произведение, и то, что князь приказал его освободить. Этот наивный биографизм и досказывание за автора превратились потом в своеобразный „метод“ изучения „Слова“.

Блестящая характеристика, данная в 1841 году В. Г. Белинским „Слову Даниила Заточника“, не могла нарушить складывающейся традиции „университетской“ науки: эта характеристика слишком опережала ее. Белинский видел в „Слове“ образец „практической философии и учебного красноречия“, он утверждал, что „оно так и дышит духом своего времени“. По его мнению, Даниил Заточник — это „одна из тех личностей, которые на беду себе слишком умны, слишком даровиты, слишком много знают..., которых сердце болит и сдается ревностью по делам, чуждым им; которые говорят там, где лучше было бы молчать, и молчат там, где выгодно говорить“.² Свойственное Белинскому стремление рассматривать литературные факты и явления на широком фоне русской жизни, вникать в их общественный смысл и значение, проявившееся и в данном случае, не нашло в свое время продолжения в научной литературе о „Слове“.

С. П. Шевырев в своих лекциях по истории русской словесности рассматривает „Слово“ в духе высказываний Калайдовича. Он также считает, что Даниил был сослан на озеро Лаче. Здесь Даниил, по мнению С. П. Шевырева, и написал свое произведение „в роде веселом и забавном“, добываясь от своего князя помилования. Правда, С. П. Шевырев уже чувствует связь „Слова с его эпохой“. „Слово, — пишет он, — содержит в себе множество намеков, как должно думать, на современные ему обстоятельства“. Но С. П. Шевырев не может раскрыть эти намеки, так как все они, по его словам, „облечены такой тайной безличности, что мы решительно не можем вывести из них никакого заключения, кроме одного, что оно относится к временам удельным, которых черты ярко обозначаются в Слове“.³

Ничего не сказал об идейном смысле „Слова“ и П. А. Бессонов. Хотя в своей статье об этом памятнике он первый подробно охарактеризовал его обе редакции и много сделал для установления его источников, но этого исследователя все же интересуют главным образом внешние факторы предполагаемой биографии Даниила. Все же остальное в содержании „Слова“ П. А. Бессонову представляется несущественным: и вступление к „Слову“, и указываемые Даниилом обязанности князя, и значение при нем умных людей, и порицание тиунов, //

¹ Памятники российской словесности XII века. М., 1821, стр. 227—240.

² В. Г. Белинский. Русская народная поэзия. Отч. зап., 1841, т. XIX, № 11, отд. „Критика“, стр. 19—20.

³ С. Шевырев. История русской словесности, т. I, ч. II. М., 1846, стр. 210—213.

и пр., т. е. все то, в чем собственно и находит свое выражение идейный смысл „Слова“.¹

Ф. И. Буслаев также повторяет биографическую легенду о Данииле. Но он уже замечает сатирический характер произведения Даниила, видит, что оно направлено „против бояр, княжеских тиунов, против злоупотреблений монастырских и т. п.“. Оценка общественного значения „Слова“ и „Моления“ у Ф. П. Буслаева еще очень расплывчата. К тому же он дает суммарную характеристику их, тем самым затемняя связи каждого из этих произведений в отдельности с общественной жизнью времени его возникновения.²

В последней трети XIX века наблюдается определенный поворот в изучении „Слова“. Больше внимания уделяется раскрытию общественных взглядов, выраженных в первой и во второй редакциях его. В статьях О. Ф. Миллера, Е. Модестова, И. Н. Жданова, И. Яхонтова, И. А. Шляпкина и других споры ведутся именно по этому вопросу. Складывается мнение о произведении Даниила не как о личном „послании“ или „молении“, а как о литературном произведении, автор которого высказал определенные взгляды „на устройство государства и взаимное отношение его членов“ (И. Яхонтов). Устанавливается резкое различие между первой и второй редакциями его. Подмечается сходство взглядов автора „Слова“ со взглядами Владимира Мономаха и пр. И хотя анализ общественного содержания „Слова“ и „Моления“ еще лишен здесь конкретности, все же в методическом отношении это определенный шаг вперед в изучении данного памятника.³

Немного нового внесло в изучение вопроса об общественном значении „Слова“ и „Моления“ и исследование П. П. Мидалева. По его мнению, автор „Слова“, принадлежа к „думцам“ князя, является носителем идеалов дружины; „Моление“ же сложено не в дружинной среде, его автор — княжеский „домочадец“, холоп.

Из пореволюционных работ особое значение в решении вопроса, интересы какой социальной группы отражены в первой и второй редакциях „Слова“, имеют исследования Б. А. Романова и И. У. Будовнича. Б. А. Романов считает Даниила Заточника представителем государственного класса, принадлежащим к его общественно неустойчивой прослойке, и показывает, как меняется его положение в различной исторической обстановке.⁴ И. У. Будовниц, подробно сравнивая первую и вторую редакцию „Слова“, раскрывает различие в их идейной направленности. В результате своего исследования И. У. Будовниц приходит к выводу, что „Моление“ — это памятник ранней дворянской публицистики, в котором „впервые зазвучал голос молодого дворянства, выступившего с требованием сильной и грозной княжеской власти, опирающейся не на бояр, а на преданных своему государю множество воев“.⁵

Исследования Б. А. Романова и И. У. Будовнича значительно прояснили вопрос об общественно-политических идеалах автора „Слова“ и составителя „Моления“. И автор „Слова“ и составитель „Моления“

¹ П. А. Бессонов. Несколько замечаний по поводу напечатанного в „Русской беседе“ Слова Даниила Заточника. Москвитянин, 1856, т. II, № 7, стр. 325 и др.

² Ф. И. Буслаев. Исторические очерки русской народной словесности и искусства, т. II. СПб., 1861, стр. 94 и др.

³ Подробное изложение истории вопроса см.: И. А. Шляпкин, ук. соч., стр. 5—40; П. Мидалев, ук. соч., стр. 11—86; И. У. Будовниц, ук. соч., стр. 138—149.

⁴ Б. А. Романов, ук. соч., стр. 11, 17, 284 и др.

⁵ И. У. Будовниц, ук. соч., стр. 155—157 и др.

ставят своей целью доказать необходимость сильной княжеской власти. Но конкретные представления об этой власти у них различны в связи с тем, что они отражают различные этапы в развитии феодальной Руси. Вследствие этого „Слово“ и „Моление“ отличаются между собой и в идейном отношении.

В представлении автора „Слова“ князь — центральная фигура в княжестве в отношении политическом, общественном и моральном. Он — надежда, опора и защита всех подданных: „Ты, — говорит автор, обращаясь к князю, — оживление вся человеки милостию своею“, и добавляет: „сироты и вдовицы, от велможь погружаемы“. Образ князя, во все вникающего, все и всех (от храбрых и сильных мужей и добрых бояр до сирот и вдовиц) держащего в поле своего внимания, прежде всего возникает в представлении автора „Слова“. И поэтому так свободно и непринужденно он излагает князю свои жалобы, просит поддержки в тяжелых житейских обстоятельствах и позволяет себе давать резкую оценку поступков не только княжеских тиунов и рядовичей, но и самого князя.

Автор „Слова“ сравнивает себя с травой, растущей „на застении“, лишенной света солнца и дождя, и с деревом, стоящим у дороги, которое „мнози посекают и на огонь мечют“, и считает, что только князь мог бы избавить его „от всех скорбей“ и оградить от обид „страхом грозы своей“ как „оплотом твердым“. Но на помощь и покровительство князя вправе рассчитывать каждый из его подданных. Поэтому свою просьбу Даниил произносит не только от своего имени, но и от имени широкого круга лиц, находящихся в таком положении, как и он: „Возри на птиц небесных, яко тии ни орють, ни сеють, но уповають на милость Божию; тако и мы, господине, жалаем милости твоея (А, VIII)“.

Уже в этом образе князя есть черты, которые связывают его с определенным этапом развития идеологии феодального общества. Они еще резче обозначаются, когда автор „Слова“ переходит к характеристике князя как военачальника и правителя.

Хорошо „за добрым князем воевати“, говорит автор. Хорошо потому, что „добрый“ (хороший, сильный) князь полки наряжает, ведь „многажды безнарядием полци погибають. Видих: велик зверь, а главы не имеет; тако и многи полки без добра князя (А, XXIII)“. Это же значение „главы“, по мнению автора, имеет князь и в управлении землей, в мирном строительстве: „Гусли бо страются (Т строятся) персты, а тело основается жилами; дуб крепок (ТКН крепится) множеством кореня; тако и град нашъ твоею дръжавою (А, XXIV)“. В своей княжеской практике князь должен, по мысли автора, опираться на своих сильных и храбрых „мужей“, на „умных“ бояр и „добрых“ (хороших, знатных, почтенных) „думцев“.

Для того чтобы собрать сильных и храбрых мужей, князь не должен жалеть ни золота, ни серебра, потому что „мужи злата добудуть, а златом мужей (не) добыти (А, XXII)“. Щедрый князь — отец слугам многим: „Мнози бо оставляют отца и мать, к нему прибегают“. Он как река, текущая без берегов сквозь дубравы, „напоюще не токмо человеки, но и звери“. Скупой же князь, как река в каменных берегах: „нелзи пити, ни коня напоити“. Также и боярин: щедрый, — как колодец со сладкой водой; скупой — как колодец с соленой водой. Рука князя не должна быть „согбена на подаяние убогим: ни чашею бо моря расчерпати, ни нашим иманием твоему дому истошки (А, XXII, XXV, XXI)“.

Нарисованный здесь облик князя приобретает уже совершенно конкретные очертания. Это тот идеал князя, тот тип государственного

деятеля, утвердить который в жизни Руси времени раздробленности своим публицистическим пером и своим личным примером с такой страстью стремился Владимир Мономах.

Рядом прямых сопоставлений можно доказать исключительную близость „Слова Даниила Заточника“ к произведениям Владимира Мономаха. В „Слове“ тот же энергичный, во все вникающий, сам „наряды творящий“ на войне и в дому князь, которого мы знаем по произведениям Владимира Мономаха („Поучение“: „Еже было творити отроку моему, то сам есмь створил, дела на войне и на ловех... весь наряд и в дому своею то я творил есмь“). Он так заботится об убогих и не позволяет вельможам „погружати“ (потоплять, губить) сирот и вдовиц, как советует это делать своим сыновьям Владимир Мономах („Поучение“: „Всего же паче убогих не забывайте, но елико могуще по силе кормите, и придавайте сироте, и вдовицю оправдите сами, а не выдавайте силным погубити человека“). В сознании автора „Слова“, как и в сознании Владимира Мономаха, князь резко отделяется от его приближенных, его прямых помощников — „тивунов“, „рядовичей“ и пр. К нему обращается автор как писатель, ища покровительства и этим напоминая мономахов идеал просвещенного князя.

Автор „Слова“ как бы подхватывает идеи Владимира Мономаха. С меньшей политической мудростью, но с не меньшей страстностью он стремится упрочить в русской действительности завещанный Владимиром Мономахом русским князьям и прежде всего своим сыновьям и своему княжескому роду идеал князя. Автор „Слова“ живет традициями этого княжеского рода. Он близок с внуком Владимира Мономаха, Ростиславом Юрьевичем. Одному из сыновей Владимира Мономаха, Андрею Доброму, он адресует свое „Слово“. Кто он — неизвестно. Но видно, что он выражает идеологию господствующих слоев феодального общества времени раздробленности Руси.

На первый взгляд может показаться, что изменения, внесенные в текст „Слова“ составителем „Моления“, весьма незначительны. Действительно, большая часть афоризмов „Слова“ вошла в „Моление“ в своем первоначальном виде. Несовпадение порядка расположения их в „Слове и в „Молении“ в ряде случаев объясняется чисто внешними причинами: ошибками переписчиков. Редактор не везде убрал даже такие афоризмы, которые противоречили его личным взглядам по весьма важным вопросам. Так, например, в тексте „Моления“ осталось следующее изречение: „Яко же бо паволока испестрена многими иголки, красно лице являет, тако и ты, княже наш, умными бояры предо многими людьми честен еси и по многим странам славен явися (Ч, XXX)“. Изречение это находится в резком противоречии с антибоярской тенденцией „Моления“.

Однако „Моление“ написано в новой исторической обстановке, на новом этапе развития феодального общества древней Руси. Составитель его принадлежит к новой, в первой половине XIII века только еще возникающей прослойке феодального класса — к дворянам. И эти обстоятельства являются причиной того, что и тех немногих изменений и дополнений, какие редактор внес в текст „Слова“, оказалось вполне достаточно, чтобы придать ему иной идейный смысл. Как ни молода еще новая социальная группа — дворянство, но составитель „Моления“ уже ясно понимает ее политическое значение. „Княже мои, господине, — говорит он. — Всякому дворянину имети честь и милость у князя“. Он хорошо сознает, какие трудности надо преодолеть, чтобы добиться этой „честь и милости“, и в ряде новых афоризмов блестяще выражает

волю к социальному бытию феодальной мелкоты: „Не оперив стрелы, прямо не стрелити, ни леностию чести добыти; зла бегаючи, добра не постигнути... (Ч, XIII)“.

Однако он уже твердо убежден в том, что только благодаря князю может установиться такой порядок, при котором ему (автору) и его собратьям хлеб перестанет казаться горьким, как полынь, а питье — растворенным слезами. Этим объясняется тот новый строй, который приобретает текст „Слова“ под пером его редактора. В „Молении“ значительно усиливается просительный тон. Автор просит не покровительства для своего „художества“, а милости княжеской по причине своей „худости“ или „скудости (Ч, VI, XX)“. Он готов, используя фразеологию псалтыри, назвать себя сыном рабыни, княжеским рабом, лишь бы добиться этой милости. И, конечно, это не личная просьба: „Яко очи рабыни в руде госпожа своеи, тако очи наши в руку твою (Ч, IX, VI)“. В этом самоуничижении видна определенная тенденция. Подчеркиванием незначности своего происхождения составитель „Моления“ как бы противопоставляет новую социальную группу, — представители которой могли надеяться на княжескую „честь и милость“ только благодаря своим личным достоинствам, главным образом уму, — знатым и родовитым вельможам. „Луче един смысен, — говорит он, — паче десяти владеющих грады властелин без ума (Ч, XX)“.

Новая направленность „Моления“ характеризуется также несколько иным отношением его составителя к князю, чем то, которое мы наблюдали у автора „Слова“. Правда, и тот и другой отстаивают идею сильной княжеской власти. Но если автор „Слова“ еще признает необходимость участия в управлении княжеством „добрых думцев“, порицая только лихих, то составитель „Моления“ высказывается против „думцев“ вообще. „Не корабль топит человека, но ветер, — говорит он, — тако же и ты, княже, не сам владеши, в печали введут тя думцы твои (Ч, XXIII)“.

Еще ярче новое в оценке княжеской власти сказывается у составителя „Моления“ в том противопоставлении отношения дворянина к службе у князя и к службе у боярина, которое было совершенно недоступно для автора „Слова“. Автор „Слова“ говорил: „Доброму бо господину служа, дослужится слободы, а злу господину служа, дослужится большей работы (А, XXV)“, равно относя его и к службе у князя и к службе у боярина. Составитель же „Моления“ проводит в этом отношении резкую грань между князем и боярином. Он предпочитает носить „лыченицы“ в княжеском доме, вместо того чтобы ходить „в черлене сапозе в боярстем дворе“; служить князю „в дерюзе“, нежели „в багрянице в боярстем дворе“; пить воду в доме у князя вместо меда „в боярстем дворе“; принять испеченного воробья из рук князя, „нежели боранье плечо от государей злых (Ч, XXXVI, XXXVIII)“. Этот антибоярский выпад заканчивается уже знакомым нам по тексту „Слова“ изречением: „Добру господину служа, дослужится слободы, а злу господину служа, дослужится болшие работы (Ч, X)“. Но в контексте „Моления“ это изречение имеет иной смысл, чем в „Слове“: здесь „добрый господин“ — князь, а „злой“ — боярин.

Проведение такой резкой принципиальной разницы между службой князю и службой боярину бесспорно является отражением глубоких изменений, происшедших в феодальных отношениях на Руси в XIII веке. Мелкие феодалы в самой действительности предпочитали ориентироваться на князя, а не на бояр. Идеология именно этой прослойки феодального класса и нашла свое отражение в „Молении“.